

ВЛАДИСЛАВ КРАПИВИН

НЕПРОЛИВАШКА

Часть сборника: Под созвездием Ориона (сборник)

Владислав Петрович Крапивин

Непроливашка

Серия ««Мемуарный» цикл», книга 7

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=153554

Крапивин В. Непроливашка:

Аннотация

Сколько ярких эмоций может быть связано с самой обыкновенной чернильницей-непроливашкой! Этот предмет заставляет автора вспомнить о старом графе Андрее Гаврилыче Трубочинском, о своем детстве и о многом другом...

Содержание

| | |
|-----------------------------------|----|
| 1. | 4 |
| 2. | 20 |
| Конец ознакомительного фрагмента. | 25 |

Владислав Крапивин

Непроливашка

Повесть-воспоминание

1.

В душе я коллекционер. А точнее говоря, барахольщик. Потому что коллекционеры собирают свои редкости по строгой системе, а я просто так, что придется. В моей комнате полным полно мелких, бесполезных на первый взгляд вещей. Они на полках, на стенах, на подоконнике, на рабочем столе. Здесь, на столе, бросается в глаза одна причудливая штука. Те, кто приходят ко мне впервые, как правило, замечают ее:

– Ух ты, какая интересная вещь! Старинная, да?

Вещь и вправду старинная. Это маленький письменный прибор из бронзы или латуни. Любопытно, что за долгие годы он не покрылся чернотой или зеленью, сохранил лишенный окиси золотистый цвет.

В основании прибора – пластинка размером с крупную плитку шоколада. У нее узорчатые лапки-подставки и обрамление из медных лепестков и завитых ракушек. Такой стиль называется «рококо». Он был моден в восемнадцатом

веке. На площадке два круглых гнезда. В одном стоит фаянсовая, лиловая с белым посудинка. Она расписана сентиментальными цветочками и закупорена плоской металлической крышкой. На ободке крышки до сих пор заметны следы позолоты, а сверху в ней множество мелких отверстий. Похоже на перечницу. Но, конечно, это не перечница, а песочница. В давние времена, когда не было промокашек, песком посыпали написанные гусиным пером чернильные строчки – для скорейшего высыхания. А перо макали в чернильницу, которая стояла в соседнем гнезде.

Увы, чернильницы нет, не сохранилась. Это и понятно! Прибор столько лет провалялся в земле.

В шестидесятых годах прошлого века под Москвой, недалеко от поселка Петрово-Дальнеее, сносили с лица земли очередную обветшавшую усадьбу. Разумеется, на развалинах копошились местные пацаны – любители тайн и кладов. Они-то и отыскивали прибор. А потом его то ли выменяли, то ли выкупили у мальчишек мои друзья, которые жили в этом поселке. Тоже любители старины.

Я, когда был у друзей в гостях, как говорится, «положил глаз» на эту находку. И стал выпрашивать. Хозяева покряхтели, повздыхали и наконец решили:

– Так и быть, забирай. Ты человек пишущий, тебе такая вещь нужнее.

Конечно, это была шутка. Кто в наше время пишет рассказы и повести, обмакивая перо в чернила! Тем более, что

и чернильница-то неизвестно где... Таким образом никакой практической пользы от прибора не было, он мог служить лишь украшением.. Но украшение – тоже польза. А кроме того эта старинная вещь иногда щекочет авторскую фантазию.

Я ведь пока не описал прибор полностью. На нем есть еще рамка, тоже в стиле рококо – из тонко отчеканенных завитков и ракушек. Она вертикально торчит над площадкой, и в ней висит колокольчик. Красивый такой, как бы склеенный из латунных лепестков и листьев. Внутри у него, если приглядишься, тоже можно различить следы позолоты. Мне кажется, что они придают звону особую мелодичность. Голос колокольчика ничуть не потускнел за два (а то и за три!) века. Он чистый и ребячливый, как у мальчиков-колокольчиков из сказки «Городок в табакерке».

Зачем этот звонок на письменном приборе? Ясное дело, чтобы хозяин, не вставая из-за стола, мог вызвать кого-нибудь из домашней obsługi.

Я трогаю край колокольчика авторучкой: длинь... Конечно, ко мне на этот звон никто не придет. Только любопытные коты Макс и Тяпа просовывают в дверь усаые морды. Но я вновь толкаю колокольчик. Бужу воображение. Представляю, как было раньше. В те времен, когда прибор стоял в кабинете у хозяина усадьбы, на бюро из красного дерева (тоже в стиле рококо)

Мне почему-то кажется, что хозяином был пожилой обед-

невший граф. Однажды я даже придумал ему имя; Андрей Гаврилыч Трубочинский.

Я вижу, как Андрей Гаврилыч в потертом плющевом халате (шлафроке!) сидит у бюро и водит по бумаге растрепанным гусиным пером. За высокими, с полукруглым верхом, окнами снежное, искрящееся от солнышка утро. Потрескивает кафельная печь. Потрескивает от всякого движения и разошедшееся от старости бюро. Граф уже выпил кофию, но завтрак еще не приносили, есть время для письма... Андрей Гаврилыч ставит наконец подпись и трясет над листом песочницей. Погодя, сдувает песок. Хлопает обгрызанным концом пера по колокольчику. Раз, другой... . Наконец появляется из-за двери сутулый и морщинистый камердинер – в малиновой ливрее с пожухлым позументом, в сморщенных чулках и валеных туфлях вместо положенных башмаков с пряжками.

– Слушаю, батюшка Андрей Гаврилыч...

– Плохо ты слушаешь, Федотыч. Я тут звоню, как Петровский монастырь к заутрене, а тебя все нет...

– Виноват, батюшка. Прилег на лавке, ночь-то всю как есть глаз не сомкнул, поясница ноет, окаянная... Чего прикажете? Завтракать в зале будете или сюда чтобы принесли?..

– Вели Ермолаю оседлать Персея, да пускай едет не мешкая в столицу, отвезет письмо княгине Софье Павловне. И на словах пусть добавит, что барин будет у нее непременно,

как только вылечит простуду.

– Батюшка Андрей Гаврилыч! Да неужто захворали? Я ве-
лю Авдотье, чтобы малину...

– Для нее захворал, для княгини. Опять прислала билет:
извольте, граф, быть на балу. Чего я там не видел? Менюэты
с девицами танцевать годы мои давно не те. Одно только де-
ло: за карточным столом дурака валять. Интересу на грош, а
убытку... В прошлый раз семь рублёв просадила...

– Семь рублёв! Батюшка, разор-то какой! Барыня Катери-
на Дмитриевна, царство ей небесное, век бы вам не прости-
ла!

– То-то и оно... Да ежели бы еще порядочному человеку
проиграл, а то ведь ротмистру Бугаевскому из жандармского
корпуса. Срам.... Ну, ступай, найди Ермолая.

– Найти-то не хитро, а только.... может, лучше велеть
Степке, чтобы запряг возок да и сvez бы письмо? Верхом-то
он никак...

– Отчего же Степке? Он дурак, да и в Москве почти не
бывал, улицу, какую следует, не сыщет...

– Оно так. И боязлив к тому же, в лесу ему за всяким де-
ревом волки чудятся... Тогда, может, я сам сvezу? Не столь
уж далекий путь...

– Еще не легче! Ты, Федотыч, глянь на себя, из тебя пе-
сок, как из этой склянки... – Андрей Гаврилыч встряхивает
в пальцах песочницу. – И сам же говорил, что поясница...
Да отчего нельзя Ермолаю-то?

– Куда же ему, ежели он лежит в людской на лавке колодою, слов не вяжет, мычит только. Девки его рассолом отпавивают, да пока без проку. Вечор бражки нахлебался, раздобыл у баб...

– Новое дело! С чего это он? Вот как дать бы ему хорошего дёру на конюшне...

– Дёру – это завсегда полезное дело, батюшка, да только не в нынешнем разе. Известно ведь, что от любви нету никакого средства...

– Еще не легче! Это от какой такой любви?

– Да известное дело. Сохнет он по Марфушке, что в помощницах у Авдотьи, места не находит.

Андрей Гаврилыч с досадою ставит песочницу мимо гнезда на приборе.

– Сохнет он! Это что же за бестолковость такая!.. Разве нельзя сделать все, как у людей? Пришел бы, пал бы в ноги, как полагается: дозвожь, барин, взять за себя Марфушку, Или я не человек, не понимаю никакого сердечного страдания?

– Батюшка Андрей Гаврилыч! Да все знают, что добрее нашего графа нету во все округе! И кабы только в вас дело...

– Вот те новость! А в ком еще?

– Да в ней, в окаянной! В Марфушке! Не пойду, говорит, за рябого! А будут неволить, говорит, враз камень на шею и в омут! И ведь сделает, греха не побоится! Потому как не может забыть Митьку Кудрявого, казачка вашего, коего по-

слали в Москву к живописцу Кондратьеву для обучения...

– Погоди, Федотыч... – Андрей Гаврилыч прикладывает ладони к вискам. – У меня в голове от твоих рассказов так, будто сам бражки хлебнул... А Митька-то что?

– Да кто же его знает. Столичная жизнь – дело непонятное...

– Ну вас всех. Пускай сами разбираются... И письмо тоже – ну его, коли уж послать некого. Княгиня небось и не заметит, что меня там нету... А ты, Федотыч, вот что. С завтраком вели погодить, а принеси-ка мне наливочку, ту, что из смородины. Только так, чтобы Авдотья не видела. До того вредная баба, опять причитать начнет про мои хвори, будто я не секунд-майор в отставке, а дитя без понятия...

– Андрей Гаврилыч, я сей минут!

– То-то, что сей минут. Да гляди, чтобы сам ни-ни...

– Батюшка, да как можно!

– Знаю я твое «как можно»... Ну ладно, стаканчик, не больше.

– Благодарствую, батюшка Андрей Гаврилыч...

Федотыч пятится и пропадает надолго. Видать, непростое это дело – раздобыть графинчик из шкафа, что под постоянным приглядом бдительной Авдотьи..

Граф откидывается в кресле с зеленой стеганой обивкой. Хорошее утро за окнами, потрескивание дров в печи, уют привычной комнаты и предвкушение наливки приносят в душу спокойствие. В самом деле, чего извиняться перед кня-

гиней? Проживет старуха и без его письма. И Ермолай протрезвеет и, глядишь, как-нибудь смягчит сердечные страдания. Не драть же, в самом деле, мужика, ежели ему и без того худо... А бестолковая Марфушка, глядишь, поумнеет и сама выберет суженого. Неволить граф никого не хочет. Хотя бы из уважения к Костиньке, который не раз убеждал отца, что люди всякого звания одинаково имеют право на Божью и человеческую милость...

Давняя, привычная уже тревога за Костиньку – это, пожалуй единственное, что мешает сейчас окончательному благодушию. Граф поднимает глаза на маленький акварельный портрет. Ну Митька, ну чертенок, до чего же наловчился орудовать красками да кисточками. Ведь ни у кого не учился, сам по себе. И совсем был малец, когда писал этот портрет, одних годов с Костинькой.

На акварели кареглазый круглолицый мальчонка с локонами и с тонкой шеей, точащей из высокого форменного воротника. Губы пухлые, а брови он строго свел, как и положено будущему флотоводцу. И похож, похож... Маменька его Екатерина Дмитриевна, когда была еще жива, не раз пускала слезу у портрета. Да и у самого графа порой щиплет в глазах...

Господь уберег Костиньку, год назад начальство отправило гардемарина Трубчевского в кругосветное плавание на шлюпе «Афродита». А не случись такого, оказался бы, чего доброго, мальчик среди тех, кто вышел в недавнем декаб-

ре на Сенатскую площадь. С его-то мечтаньями о всеобщей вольности!.. А где он теперь, в каких морях, у каких островов? Последнее письмо было пять месяцев назад, из южной заморской страны Бразилии, из города Рио-де-Жанейро. С той поры сколько всего могло случиться...

«Господи, спаси и сохрани моего мальчика...» – Граф мелко крестится и с полминуты сидит, склеив мокрые ресницы.

Тревожно, да. Но ведь, с другой стороны, отраднo, что Костинька повидает белый свет. Глядишь, и ума– разума наберется, отбросит пустые мысли, кои толкают юных офицеров на безрассудства. Бог им судья, но мыслимое ли дело кидаться очертя голову в мятежи простив государя императора! Беззаконием добьешься ли общего благоденствия...

А Митька и вправду молодец. Не сбился бы только с пути в матушке-столице. Может, и будет прок из бывшего расторопного казачка. Известны уже случаи, как из крепостных душ получались знатные мастера. Ежели будет так, то можно и вольную, чего запирать в неволе божий дар. Скажу: «Пиши маслом с меня большой портрет на память сыну и внукам, кои будут непременно, да и ступай с Богом. И Марфушку можешь забирать, если есть на то ее желание...» Хотя этак можно всей дворни лишиться! Ну да ладно, время покажет...

Хлопая туфлями о разболтанный паркет, появляется Федотыч. На подносе – графинчик, полный темнокрасной жидкостью до половины, и две граненые рюмки. Одна – со сле-

дами наливки.

– Я вижу, приложился уже...

– Да ведь сами позволили, батюшка...

– Ладно-ладно... Авдотья не видела?

– Упаси Господь...

– Давай сюда... Ну не гляди, не гляди так, налей и себе половинку.

– Благодарствую, батюшка Андрей Гаврилыч. С каждого глотка пояснице все легче...

От наливки теплеет в желудке, а потом и в груди.

– Федотыч, графинчик и рюмку оставь у меня, спрячу.

Остальное унеси, потом придешь подкинешь дровишек...

– Слушаю батюшка Андрей Гаврилыч, дай Бог вам здоровья...

Федотыч уходит шаркая подошвами, а возвращается очень быстро и чуть ли не вприпрыжку.

– Андрей Гаврилыч, там верховой из Москвы. Говорит, от господина надворного советника Колоскова Петра Петровича!

– Кто таков? Не помню... Вели войти!

Человек появляется в дверях. Видно, что из двора богатого хозяина. Одет добротно, в ладно скроенный полушубок и теплые мягкие сапоги. Волчью шапку держит в руках, но не мнет. Кланяется с достоинством.

– От его высокоблагородия Петра Петровича Колоскова спешное письмо вашему сиятельству.

«Что такое? Не было забот...»

– Давай сюда, братец...

Конверт большой. Плотный, не разорвешь сразу. В нем еще конверт, поменьше, и отдельный лист бумаги.

«Его Сиятельству графу Трубчинскому.

Милостивый Г осударь Андрей Гаврилович! Будучи вновь назначенным в Москву полномочным представителем Российско-Американской компании, я постоянно получаю из Петербурга служебные бумаги и прочую почту. В последней почте я нашел письмо, переправленное с Камчатки чрез Охотск, и адресованное Вашему Сиятельству. Имея сведения, что Ваш сын Константин находится в плавании на шлюпе «Афродите», пришедшем осенью прошлого года в Петропавловский порт на Камчатке, я предположил, что письмо это отправлено им. Понимая отцовское желание получить от сына скорейшие известия, почел я своим долгом незамедлительно отправить сей конверт Вашему Сиятельству.

Выражаю надежду, что предназначенные Вам сообщения благополучны, и остаюсь Вашего Сиятельства покорнейшим слугою -

Российско-Американской компании

Московский полномочный представитель

надворный советник Колосков.»

Это ясно. Теперь другой конверт, скорее! Эх ведь пальцы трясутся, будто у старца... Сложенные вчетверо листки, знакомый, такой родной почерк с озорными завитушками и длинными хвостами у ятей и твердых знаков...

«Милый батюшка! Третьего дня наш корабль «Афродита» прибыл в Петропавловскую гавань, и тут же на борт нам доставлена была долгожданная почта. Среди счастливцев был и я, получивший Ваши письма. Благодарю Создателя за то, что в момент писания были Вы в добром здравии, и спешу с ответным письмом, поскольку уже через четыре дня мы, выгрузив товары Компании, должны уйти до холодов в южные широты Великого океана для описания нескольких вновь открытых островов. Прежде всего хочу просить, батюшка, чтобы Вы за меня не тревожились. Здоровье мое отменное, плаванием я чрезвычайно доволен, товарищи самые добрые, а командир наш капитан-лейтенант Федор Федорович Безбородько о всех офицерах и служителях имеет отеческое попечение...»

Ну и слава Богу... Слава Богу!.. Письмо длинное, и не единожды будет подробно перечитываться долгими зимними вечерами. А на первый раз надобно пробежать его быстрым глазом, чтобы покрепче убедиться: все у Костиньки благополучно...

Посланец кашлянул у дверей.

– Осмелюсь спросить у вашего сиятельства, будет ли ответ для его высокоблагородия? Петр Петрович приказывали мне возвратиться без промедления.

– Будет, будет непременно! Тебя как звать, голубчик?

– Филиппом кличут, ваше сиятельство.

– Федотыч, отведи Филиппа на кухню, пусть Авдотья накормит горячим. И чтобы чарочку... Передохни, голубчик, пока я пишу Петру Петровичу. И вот еще... возьми-ка это братец... – Андрей Гаврилыч дергает на себя скрипучий неподатливый ящик (колокольчик отзывается звоном), достает серебряный рубль с разлапистым орлом, чеканки памятного двенадцатого года, когда граф Трубчинский с верным ординарцем Федотычем ушел в ополчение.

Филипп берет монету с достоинством.

– Покорнейше благодарим, ваше сиятельство.

...Через час, когда послание надворному советнику Колоскову с душевной благодарностью за добрую весть написано, Филипп ускакал, а письмо Костиныки прочитано еще дважды, граф Андрей Гаврилыч с мягкой отрадою в душе (и с теплотой от еще одного стаканчика наливки) полулежит в кресле. Кроме отрады, есть в душе и не растаявшее до конца беспокойство. Ведь письмо-то написано в октябре, а нынче на дворе уже февраль. За четыре с лишним месяца могло случится всякое. Однако для большой тревоги нет сейчас места. Следует быть благодарным судьбе за осеннее письмо. Господь милостив и надо надеяться, что и дальше Он будет

хранить мальчика от всяких бед...

Федотыч уже дважды заходил в кабинет – будто бы приглядеть за печкой. И наконец он не выдерживает:

– А что, батюшка, никак весточка от Константина Андреича?

– От него, от него! – радостное возбуждение опять встряхивает Андрея Гаврилыча, прогоняет сонливость. – Пишет, что все у него хорошо, высочайшим повелением он и два других гардемарина произведены в мичманы, был получен указ в Петропавловске... И тебе кланяется, Федотыч.

– Значит, помнит старика...

– Как не помнить, ежели ты его еще во младенчестве на плечах таскал!.. Федотыч, вот что! Негоже сидеть просто так, когда сын получил офицерское звание! Иди к Авдотье и скажи, чтобы достала бутылку шампанского. И два хрустальных бокала! Да пусть не вздумает крик подымать, а то я ей...

Скоро бокалы оказываются на письменной доске скрипучего бюро. Пробка пистолетной пулею летит в угол, пена шипит, тонкое стекло наполняется пузырячатым янтарем.

– Федотыч, бери бокал!

– Батюшка, негоже мне господское-то вино пить, не по чину...

– Ладно тебе, «не по чину»! Первый раз, что ли? Забыл, как в четырнадцатом году, в Париже?

– Как забыть! Да тогда ведь за государя...

– А теперь за Костиньку! За мичмана Константина Андре-

ича Трубчинского!

Федотыч берет хрусталь корявыми пальцами.

– Оно конечно. Дай ему Господь всяких радостей...

Граф стоя смотрит на акварельный портрет, потом по-гусарски опрокидывает в себя вино. Разом, до дна. Со стуком ставит бокал, а левой рукой делает взмах, словно хочет показать: мы все такие же, как в молодости! Взмах слишком широк. Рукав шлафрока летит над бюро и цепляет на приборе чернильницу. Чернильница катится на пол. Медная крышка отлетает к печке, а фаянс раскалывается, как ореховая скорлупа. Черная, окруженная частыми кляксами лужица блестит на паркетных плашках.

– Батюшка, вот беда-то!

– Что за беда! Если что-то бьется, это к счастью! – заявляет граф. И с размаха садится в кресло.

– Да ведь прибор-то еще вашего дядюшки Аполлона Евстафьевича, царство ему небесное...

– Дядюшке уже все равно. А для чернил ты сыщешь какую-нибудь склянку...

– Оно так, сыщу... Марфушку надо позвать, чтобы затерла, пока не высохло.

– Успеется. Ты пей давай. У нас еще вон сколько в бутылке...

...Написал я эту историю и теперь думаю: зачем? По законам литературы, по строгим правилам сюжета и композиции

она совершенно не нужна. Никакого отношения к дальнейшим событиям повести не имеет. Сперва я хотел только объяснить, почему на приборе нет чернильницы, а все это вылилось в долгий рассказ. Почему? Может быть, потому, что рядом с прибором стоит бронзовая статуэтка мореплавателя Крузенштерна, лежат раковины с южных островов, а над головой колышутся от сквозняка паруса корабельной модели?

Или просто потому, что недавно я дал себе обещание писать, «как Бог на душу положит»? То есть вольно и безоглядно, все, что придет в голову. Говорят, что в мемуарах это позволено, а данная повесть – явно мемуарная. Воспоминания о давнем... Однако Андрей Гаврилыч Трубчинский к воспоминаниям отношения не имеет, я же его просто придумал... Может, вычеркнуть эти страницы? Но мне почему-то их жаль. Жаль расставаться с пожилым графом, со старым Федотычем, с уютным кабинетом, где потрескивает кафельная печка и висит акварельный портрет морского кадета Костины. Все, что сочинилось, я вижу, как наяву. И это помогает мне писать дальше. Уже про то, что было по правде.

2.

Однажды моя жена вернулась с вещевого рынка (иначе говоря, с «барахолки») и сказала:

– Я принесла тебе подарок. Смотри...

Она протянула мне на ладони маленькую чернильницу («чернилку», как говорили мы в давние школьные годы).

Большинство нынешних ребят про такие чернилки и не знает. А в середине двадцатого века они были у каждого школьника. Делались чернилки из пластмассы, из стекла, из фаянса. Снаружи – этикие стаканчики ростом со спичечный коробок, а внутри у них стенки сужались воронкой. Чернил наливалось немного, так, чтобы горлышко воронки не погружалось в них. Если чернилку клали на бок или переворачивали, содержимое ее оказывалось за краями воронки и не выливалось наружу. Отсюда и название – «непроливашка». Оно употреблялось даже чаще, чем «чернилка».

Самыми солидными были фаянсовые непроливашки. Делали их еще в довоенные времена, но многие из них дожили до сорок пятого года, когда автор этой повести пошел в первый класс. Иногда на белых блестящих боках красовались цветные картинки – как на чайной посуде. Цветочки, утята, пионеры с горнами, снежинки. А были и попроще: совсем без рисунков или с полосками по краю. Как раз такую и подарила мне жена – белую, с тонкими синими каемками

у верхней кромки.

– У меня была в точности такая же!

– И у меня была похожая...

– А эту ты где откопала?

– Да у старичка, среди тех, что сидят у забора.

Вдоль забора барахолки всегда рассаживались продавцы всякой мелочи, раскладывали товар на кусках мешковины. У этих стариков и тетюшек можно было найти дверные петли и всякие инструменты, шурупы всех размеров и старые грампластинки, подсвечники и шкатулки из ракушек, старинные пятаки и блюда от разбитых сервизов... Немудрено, что там оказалась и непроливашка.

Я взял ее в ладони, как птенчика.

– Нравится? – сказала Ирина.

– Еще бы! Будто снова в первый класс собрался...

– Спрячешь в ящик или поставишь на стол?

Для меня здесь не было вопроса.

– Вот сюда, на прибор!

Много лет письменный прибор «графа Трубчинского» стоял на моем столе без чернильницы. В пустое гнездо я ставил то пузырек с клеем, то какую-нибудь безделушку. Или складывал канцелярские скрепки и кнопки. И вот наконец старинная вещь обрела то, чего заслуживала. Снова – полный комплект!

Конечно, с точки зрения художественного вкуса несовместимость получилось дикая. Бронза в стиле рококо и ширпо-

требовская чернилка середины двадцатого века! Но я ощущал здесь полное внутреннее согласие. В своем понимании! Потому что и затейливый прибор, и простенькая непроливашка одинаково будили во мне воображение и память – о том, чего не было и что было...

Бывает, что я щелкаю ногтем по колокольчику (вдруг, покашливая и шаркая, войдет Федотыч?) потом беру и тихонько баюкаю непроливашку (старый сентиментальный дурень). «Подруга дней моих суровых...»

Правильнее сказать «подружка». Потому что малютка. А насчет суровых дней – все точно. Жизнь моя в первом и втором классах была отнюдь не розовой. Я уже немало писал про нее и до сих пор удивляюсь: сколько сюжетов кроется в двух годах школьного бытия семи– и восьмилетнего пацана. Хватило бы еще на несколько романов, причем в каждом – куча горестей и неприятностей. Кстати, с неприятности началось и мое знакомство с непроливашкой.

В разных повестях и рассказах я, рискуя надоесть читателям, уже писал, что в те годы жил в Тюмени, на деревянной улице Герцена, бывшей Ляминской. Отнюдь не центральной, но и не совсем окраинной. Зимой она утопала в сугробах, летом – то в пыли, то в бесшумной тополиной метели. За хлипкой дощатой стенкой нашей комнаты обитал сосед Пашка, он был старше меня на три года.

О Пашке я писал тоже многократно, выводя его под раз-

ными именами. Это был и Павлик (весьма романтизированный) в ранней лирической повести «Тень Каравеллы», и Лешка Шалимов в разных автобиографических циклах, и Пашка Шаклин в повести-дневнике «Однажды играли...» Последнее имя – самое близкое к настоящему, таким я и оставляю его здесь.

Пашка был всякий. Соседями мы были с самого моего рождения, и рассказывать о Пашке я могу «в самых разных ключах». И как о добром приятеле и защитнике; и как о вредном насмешнике, который награждал меня прозвищами и не брал играть в компанию своих одноклассников; и как о внимательном, даже ласковом собеседнике в зимние вечера, когда мы читали у настольной лампы потрепанные приключенческие книжки и вели разговоры; и как о жуликоватой личности, таскавшей у меня кедровые орехи и полученные мамой по каким-то «литерным» талонам карамельки; и как о щедром друге, который делился липким пайковым хлебом. И все будет правдой...

И в этой истории Пашка выступает в самых разных ролях. Для начала – именно он подарил мне белую с синими полосками непроливашку.

Случилось это в середине октября. Мы, первоклассники, в ту пору еще осваивали буквы и первые слова и писали карандашами. И наконец-то было обещано, что скоро нам разрешат, как полноправным школьникам, приобщиться к перьям и чернилам. («Но кто будет ставить кляксы, заставлю

писать карандашом до Нового года», – пообещала Прасковья Ивановна; она всегда обещала что-нибудь *такое*

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.